ВХОДЯЩИЙ
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
АННА ШОУ

Анна Шоу

Входящий. Каждый Четверг

https://litres.ru/74195752
SelfPub; 2026

Аннотация

Марина отвечает на десятки звонков в день. Работа как работа — заказы, адреса, чужие голоса в наушниках.

Но один звонок ей не стоило дослушивать до конца.

Ласковый старушечий голос. Странный заказ. Адрес, по которому уже одиннадцать лет никто не живёт.

С тех пор каждый четверг в её наушниках раздаётся тот самый голос. Он знает, как её звали в детстве. Он благодарит её за то, что она не бросила трубку.

И он совсем не собирается прощаться.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 11
Глава 3 17
Глава 4 24
Глава 5 33
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Анна Шоу
Входящий. Каждый Четверг

Глава 1

Марина ненавидела четверги.

По четвергам народ будто с цепи срывался. Заказывали торты в никуда, ругались из-за помятой упаковки, дышали в трубку так, словно бежали за автобусом. К вечеру у неё гудела голова, а под лопаткой поселялась тупая ноющая боль, которую не брали ни таблетки, ни горячий душ.

В тот четверг она отсидела уже шесть часов. За окном офиса темнело — ноябрь в Казани падает рано и сразу, без предупреждения. В опенспейсе горели белые лампы, от которых лица коллег казались восковыми. Ленка справа монотонно бубнила в гарнитуру про сроки доставки. Слева пустовало кресло Артура — он вышел курить сорок минут назад и, похоже, решил не возвращаться.

Марина глотнула остывший чай и приняла следующий звонок.

— Служба доставки «Корзина», меня зовут Марина, слушаю вас.

Сначала ей показалось, что там никого нет. Только шорох, далёкий и сухой, будто кто-то водил ладонью по бумаге. Потом голос. Старушечий, тонкий, уставший.

— Доченька. Наконец-то.

— Здравствуйте. Хотите оформить заказ?

— Хочу, хочу. Пиши, доченька. Пиши, не отвлекайся.

Марина машинально потянулась к клавиатуре. Что-то в этом голосе было неправильное, но она не смогла бы сказать, что именно. Может, то, что он звучал слишком близко. Обычно слышно комнату — телевизор, улицу за окном. А тут голос шёл словно из пустоты. Как будто женщина говорила, прижав губы прямо к её уху.

— Диктуйте, пожалуйста.

— Мука нужна. Два кило. Яйца, десяточек. Мёд, тёмный который, в баночке. Кагор возьми, доченька, обязательно кагор. Рис. Изюм чёрный, без косточек. Свечи есть у вас? Ну, нет так нет, ладно, свечи я сама. Блинов напечь надо. Кутью сварить. На девять дней-то как без кутьи.

Пальцы у Марины замерли над клавишами.

Кутья. Она знала это слово. Бабушка варила такую на поминки по деду, сладкую, липкую, с изюмом. Марине тогда было девять, и она запомнила навсегда, как взрослые ели эту кашу молча, не глядя друг на друга.

— У кого-то… девять дней? — спросила она и тут же пожалела. Не положено. Не её дело.

Женщина на том конце тихонько рассмеялась. Смех был

странный, ласковый и одновременно такой, что у Марины по рукам побежали мурашки, крупные, холодные.

— У меня, доченька. У меня.

— Простите?

— Адрес пиши. Заводская, восемь, квартира одиннадцать. Домофон не работает, да он и не нужен, дверь открыта будет. Пусть заносит и на кухне оставит, на столе. Только пусть тихо идёт, на цыпочках. Он спит ещё. Не хочу, чтоб раньше времени проснулся.

— Кто спит?

Пауза. Долгая, вязкая. Марина услышала своё сердце — оно стучало почему-то в горле.

— Заказ оформляй, доченька, — сказала женщина мягко. — Время идёт. У меня его мало, а у тебя…

Она не договорила. Марина ждала, вцепившись в край стола, но в трубке снова был только тот сухой бумажный шорох.

— Ваш заказ принят, — выдавила она наконец. — Оплата при получении?

— Оплачено уже. Давно оплачено. Спасибо тебе, Мариночка. Ты одна меня дослушала. Все бросают, а ты дослушала.

Щелчок. Тишина.

Марина сорвала гарнитуру и несколько секунд сидела, глядя в монитор. Заказ висел на экране, оформленный, с зелёной галочкой. Оплата прошла. Каким образом — она не

поняла, карту ей никто не диктовал.

И только по дороге домой, в промёрзшем автобусе, глядя на своё отражение в чёрном окне, она сообразила, что́ было не так.

Она не называла своего полного имени. Никогда не называла. По скрипту положено просто «Марина».

А женщина сказала — Мариночка.

Так её звала только бабушка. Бабушка, которой двенадцать лет как не было на свете.

Ночью ей снилась квартира, в которой она никогда не бывала. Длинный тёмный коридор, обои в мелкий выцветший цветочек, ковровая дорожка, вытертая до нитей. В конце коридора кухня, и там, спиной к ней, стояла маленькая сгорбленная фигура и что-то мешала в кастрюле. Мерно, по кругу, не останавливаясь. Марина хотела уйти, но ноги несли её вперёд, по дорожке, мимо закрытых дверей, за которыми кто-то дышал — медленно, тяжело, как дышат очень больные люди.

— Блины остынут, — сказала фигура, не оборачиваясь. — Садись, доченька. Нам с тобой теперь долго разговаривать.

Марина проснулась в четыре утра с колотящимся сердцем и мокрой спиной. Рядом ровно сопел Дима. За стенкой, в детской, тихо было у Соньки.

Она лежала и смотрела в потолок, уговаривая себя, что это просто нервы, просто усталость, просто дурацкая работа

с дурацкими звонками. Подумаешь, бабка с поминками. Мало ли одиноких старух, у которых в голове всё перепуталось.

Уговорила почти. Даже задремала.

А утром, на планёрке, курьер Санёк — рыжий, вечно ржущий Санёк, который развозил вчерашнюю вечернюю смену, — сидел в углу белый, как молоко, и на все вопросы мотал головой. Старшая пыталась выяснить, куда делся вчерашний заказ с Заводской, почему не отмечен ни как доставленный, ни как отменённый.

Санёк поднял глаза. Марина никогда не видела, чтобы у взрослого мужика так тряслись губы.

— Я его занёс, — сказал он тихо. — Дверь открыта была, как договаривались. Я на кухню прошёл, поставил пакеты на стол. Тихо шёл, честно, тихо. А потом смотрю — на столе фотография стоит. В чёрной рамке. И на фотографии…

Он замолчал и посмотрел прямо на Марину. Через весь кабинет, мимо старшей, мимо девчонок с их кофе, — на неё одну.

— Чего ты на меня уставился? — Голос у Марины сел.

— Заказ кто принимал? — спросил Санёк. — Ты принимала?

— Я. И что?

Он встал, уронив стул, и вышел. Просто вышел, в куртке нараспашку, в ноябрь, и больше на работе не появился. Телефон его молчал, на сообщения он не отвечал.

А в обед старшая, ругаясь, полезла в базу разбираться с

висящим заказом и вдруг притихла. Позвала Марину к своему столу. Ткнула пальцем в экран, и палец у неё, у железной тётки, которая за двадцать лет наслушалась всякого, заметно дрожал.

— Ты вот это оформляла?

— Ну я. Вчера, вечером.

— Марин. По этому адресу заказов быть не может. Домто стоит, а квартира одиннадцать… — Старшая сглотнула и понизила голос, будто их могли подслушать. — Мне Верка из соседнего отдела рассказывала, она в том районе живёт. Квартиру эту одиннадцать лет никто не открывал. Там бабку нашли когда-то. Мёртвую. Говорят, она год так пролежала, пока хватились. Опечатали и забыли. Наследников нет, никого нет.

Марина смотрела на экран. Зелёная галочка. Оплачено. Доставлено вчера в двадцать один сорок.

— Быть не может, — повторила старшая. — А заказ есть. И это ещё не всё, красавица моя.

Она отмотала список вниз, и у Марины медленно, страшно похолодели руки.

Заказы с Заводской, восемь, квартира одиннадцать, шли уже третий месяц. Раз в неделю, по четвергам, вечером. Хлеб, молоко, свечи, мёд. Аккуратные маленькие заказы одинокого пожилого человека.

И каждый — каждый до единого — был принят оператором Мариной Ветровой.

— Я их не принимала, — прошептала Марина. — Клянусь, я вижу их первый раз.

Старшая посмотрела на неё долгим взглядом. В этом взгляде было что-то такое, отчего Марине захотелось оказаться где угодно, хоть на том конце города, хоть на том конце земли.

— Записи звонков хранятся полгода, — сказала старшая. — Хочешь — послушай. Только, Марин… я одну вчерашнюю уже послушала, пока тебя ждала.

— И что там?

Старшая молчала. Потом взяла со стола свою кружку, увидела, что та пустая, и всё равно сделала глоток.

— Там нет никакой бабки, Марин. На записи ты разговариваешь одна. Сама спрашиваешь. И сама себе отвечаешь. Другим голосом.

Глава 2

Три дня Марина держалась.

Ходила на работу, улыбалась Соньке за завтраком, кивала Диме, когда он рассказывал про свою стройку и прораба-идиота. Принимала звонки. Обычные, человеческие звонки — про торты, про гречку, про то, почему курьер опоздал на двадцать минут.

А внутри всё это время тикало. Тихо, мерно, как будильник под подушкой.

Ты разговариваешь сама с собой. Двумя голосами.

В четверг она не выдержала.

Дождалась, пока смена рассосётся. Ленка убежала первой, на ходу натягивая шапку и крича кому-то в телефон, что уже едет, уже почти в лифте. Потом ушли девчонки с дальнего ряда. Потом охранник Наиль прошёлся по залу, щёлкая выключателями, увидел её и вопросительно поднял брови.

— Мне отчёт доделать. Полчасика посижу.

— Смотри. Я внизу.

И всё. Пустой зал. Тридцать погасших мониторов, как тридцать закрытых глаз. Только над её головой горела одна лампа, и от этого темнота вокруг казалась гуще, чем была на самом деле. Где-то в глубине офиса урчал холодильник. Батарея под окном щёлкнула и затихла.

Марина открыла архив записей.

Доступ у неё был — старшая сама дала, швырнула на стол бумажку с паролем и сказала «слушай, если нервы крепкие, а меня в это больше не втягивай». С тех пор старшая с ней не разговаривала. Здоровалась сквозь зубы и смотрела мимо.

Записей с Заводской набралось четырнадцать. По одной на каждый четверг, три с половиной месяца. Первая — двенадцатое августа. Марина посмотрела на дату и почувствовала, как по спине, между лопаток, медленно ползёт холод.

Двенадцатого августа они с Димой и Сонькой были на море. В Анапе. Она физически не могла принять этот звонок — она лежала на пляже за две тысячи километров отсюда.

А запись была. И в записи стояло её имя.

Марина надела наушники. Пальцы не слушались, курсор прыгал. Она глубоко вдохнула, как перед прыжком в холодную воду, и включила первую.

Сначала шёл её голос. Обычный, рабочий, чуть усталый.

— Служба доставки «Корзина», меня зовут Марина, слушаю вас.

Тишина. Длинная, шелестящая. Марина ждала старуху — но старухи не было. Вместо неё, после долгой паузы, снова заговорила она сама. Только голос изменился. Стал ниже, глуше, слова тянулись, как через силу, как у человека, который долго молчал и разучился.

— Хлебушка… молочка… свечечки, если есть…

Марина сорвала наушники.

Сердце колотилось где-то в ушах. Это был её голос. Её,

никаких сомнений — с её интонациями, с её лёгкой картавинкой на «р», которую она с детства стеснялась. Но говорила им не она. Так не притворяются. Так вообще не могут живые.

Холодильник в глубине офиса умолк. Стало очень тихо.

Она заставила себя слушать дальше. Вторую запись. Третью. Седьмую. Везде одно и то же — её рабочее приветствие, пауза, а потом её же голос, чужой изнутри, диктует мелкие стариковские заказы. Хлеб. Молоко. Мёд. Иногда голос забывал слова и мычал, подбирая, — и от этого мычания Марину мутило, потому что она узнавала его. Так мычала она сама, когда искала слово. Точь-в-точь.

На десятой записи чужой голос впервые заплакал.

— *Холодно тут… доченька, холодно… печку бы…*

И её собственный, рабочий голос — вежливый, по скрипту, будто ничего не происходит — ответил, что печек в ассортименте нет, могу предложить обогреватель.

Марина сидела, зажав рот ладонью. В пустом офисе, под одной лампой, в четверг, поздним вечером. И слушала, как она сама продаёт обогреватель мёртвой женщине.

Записи она щёлкала уже подряд, почти не дыша. Одиннадцатая. Двенадцатая. Голос в них становился крепче, увереннее, живее. Он больше не забывал слова. Он начал спрашивать. Сначала мелочи — как погода, доченька, дождик ли. Потом — как дочка твоя, Сонечка, не болеет ли. Потом — а муж-то знает, что ты по ночам не спишь.

А её собственный голос отвечал. Спокойно. Подробно. Рассказывал про Соньку. Про Диму. Про то, что окна на кухне дует и надо бы заклеить.

Она ничего этого не помнила. Ни единого слова.

Последняя запись в списке была не четверговая. Она стояла отдельно, внизу, и дата у неё была сегодняшняя. Сегодняшняя, четверг, двадцать три часа четыре минуты.

Марина посмотрела на часы в углу монитора.

Двадцать три ноль три.

Запись появилась в списке раньше, чем была сделана. Вот она — серая строчка, четыре минуты ровно. Запись разговора, который ещё не случился.

Надо было встать и уйти. Выдернуть наушники, схватить куртку, бежать вниз к Наилю, к живому человеку, к свету. Марина знала это так же ясно, как своё имя.

Но часы мигнули. Двадцать три ноль четыре.

И в наушниках, которые она так и не сняла, щёлкнуло.

— Служба доставки «Корзина», меня зовут Марина, слушаю вас.

Её голос. Прямо сейчас. Хотя она сидела молча, закусив ладонь, и её микрофон был выключен.

Тишина в наушниках шелестела, дышала, ворочалась. А потом заговорила старуха. Не через неё — сама. Тем самым голосом из первого звонка, ласковым и близким, у самого уха, словно она стояла за спинкой кресла и наклонялась к Марине через плечо.

— Долго ещё будешь притворяться, что не слышишь?

Лампа над головой мигнула.

— Я же вижу, доченька, как ты слушаешь. Все четырнадцать разочков. Аккуратненько, по порядочку. Хорошая девочка. Терпеливая. Я таких сорок лет ждала. Знаешь, сколько их было, до тебя? Трубку бросали. На третьем словечке, на пятом. А ты досидела. Досидела, дослушала, приняла.

— Что приняла? — прошептала Марина. Микрофон был выключен. Это не имело никакого значения.

— Придёшь — узнаешь. Заводская, восемь. Дверь открыта будет. Ты не бойся, доченька, я тебя не обижу. Я тебя выбрала.

— Я не приду.

Старуха помолчала. И в этом молчании было что-то терпеливое и жуткое, как у человека, который знает конец разговора наперёд.

— Придёшь, — сказала она наконец, почти нежно. — В следующий четверг и придёшь. Сама прибежишь, Мариночка. Потому что в среду вечером Сонечка твоя начнёт разговаривать во сне. Моим голосом.

Щелчок. Тишина.

Лампа над головой погасла, и Марина осталась в темноте, одна, посреди тридцати мёртвых мониторов. Где-то далеко внизу хлопнула дверь, и по лестнице загремели шаги Наиля — он поднимался спросить, скоро ли она, время-то позднее.

А Марина сидела и не могла разжать пальцы, вцепившиеся в край стола.

До среды оставалось шесть дней.

Глава 3

Пятница прошла как в тумане.

Марина взяла отгул — соврала про зубного, и старшая подписала заявление, не поднимая глаз. Всем было легче, когда Марины не было в зале. Она это чувствовала кожей. Девчонки замолкали, стоило ей подойти к кулеру. Ленка пересела на дальний ряд, буркнув что-то про сквозняк.

Сквозняк. Ну да.

Дома было не легче. Дима заметил, что с ней что-то не то, ещё во вторник — она пересолила суп так, что есть его было нельзя, а потом полчаса стояла у окна и смотрела во двор, на пустую детскую площадку.

— Марин. Ты чего?

— Устала. На работе завал.

— Может, к врачу? Ты по ночам разговариваешь.

Она обернулась так резко, что заныла шея.

— Что я говорю?

— Да не разберёшь. Бормочешь чего-то. Про свечки какие-то. — Дима усмехнулся, но глаза у него не смеялись. — Ты не куришь там у себя в офисе чего-нибудь весёлого?

Она заставила себя улыбнуться. Улыбка вышла кривая, как приклеенная.

Про свечки.

В субботу она поехала искать Санька.

Адрес выпросила у кладовщика Рината — тот с Саньком приятельствовал, возил его как-то на дачу. Ринат долго мялся, чесал затылок, потом написал на бумажке улицу и дом.

— Только зря съездишь. Я к нему заходил в понедельник. Мать его дверь открыла, а он из комнаты кричит, чтоб никого не пускала. Совсем плохой. Мать говорит, ночами не спит, свет не гасит. Соль по подоконникам рассыпал. — Ринат помолчал и добавил тише. — Слышь, Марин. А чего у вас там случилось-то? На том адресе?

— Не знаю, Ринат. Правда не знаю.

Санёк жил на другом конце города, в старой девятиэтажке у промзоны. Дверь открыла маленькая измученная женщина в халате, посмотрела на Марину и как-то сразу всё поняла.

— Вы с его работы?

— Да. Я Марина. Мне очень надо с ним поговорить.

Из глубины квартиры донеслось короткое и хриплое.

— Пусть уходит.

— Саня, я на минуту!

— Уходи! — Голос сорвался. — Я знаю, кто ты теперь! Я видел фотографию!

Мать беспомощно оглянулась вглубь коридора, потом на Марину, и в глазах у неё стояли слёзы. Марина шагнула вперёд, мимо неё, сама не понимая, откуда взялась смелость.

Санёк сидел в дальней комнате на диване, в углу, подтянув колени к груди. Взрослый здоровый мужик — а сидел, как ребёнок, который спрятался от грозы. Вокруг дивана, прямо

по ковру, была рассыпана соль. Неровный белый круг. На подоконнике горели три церковные свечки, хотя за окном стоял белый день.

— Не подходи, — сказал он тихо. — Стой там. За солью стой.

— Саня. Что было в той квартире?

Он долго молчал. Смотрел не на неё, а чуть в сторону, ей за плечо, и от этого взгляда у Марины шевелились волосы на затылке — так смотрят, когда за спиной у тебя кто-то стоит.

— Чисто там было, — сказал он наконец. — Вот что самое страшное, понимаешь? Одиннадцать лет квартира стоит запертая, а там чисто. Пыли нет. Полы мытые. На плите кастрюлька, и от неё пахло. Кашей пахло, сладкой. Я ещё подумал, перепутал адрес, живёт себе бабуля. Пакеты поставил, повернулся уже уходить. И увидел стол.

Он сглотнул. Кадык дёрнулся.

— Стол накрытый стоял. На двоих. Две тарелки, две чашки. Блины горкой. И фотография в чёрной рамке, посерёдке, как положено на поминках. Я близко не хотел, а ноги сами поднесли. Наклонился.

— И что на фотографии?

Санёк перевёл взгляд на неё. В упор. И Марина поняла, что ответ она знает. Знала всю дорогу сюда, весь этот трясущийся час в автобусе.

— Ты, — сказал он просто. — Ты на фотографии, Марина. В чёрной рамке. Только старая. Лет на тридцать старше,

чем сейчас. Но ты. Я твоё лицо из тысячи узнаю, я же с тобой три года на сменах.

В комнате стало очень тихо. Свечки на подоконнике горели ровно, не дрожа.

— А второй прибор… — Марина услышала свой голос будто со стороны. — Ты сказал, стол на двоих.

— Вот и я про то, — прошептал Санёк. — Она гостей ждёт. Она тебя ждёт. Уезжай, Марин. Забирай своих и уезжай куда подальше, пока…

Договорить он не успел. Свечки на подоконнике погасли. Все три. Разом, без сквозняка, без дуновения — просто стояли три огонька, и вот их нет, и три ниточки дыма тянутся к потолку.

Санёк закричал.

Марина не помнила, как выскочила из квартиры, как летела вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. Опомнилась только на улице, на остановке, хватая ртом холодный воздух. Руки тряслись. В голове, по кругу, крутилось одно.

Стол на двоих. Фотография в рамке. Она ждёт.

Воскресенье, понедельник и вторник Марина прожила, как ходят по тонкому льду — мелкими шагами, не дыша, прислушиваясь к каждому треску.

Она не пошла в церковь, хотя думала об этом. Стояла перед оградой минут двадцать и не смогла зайти — что бы она сказала? Батюшка, мне звонит мертвая женщина на работу? Она купила соли, как у Санька, и высыпала на подоконник

в детской, пока никто не видел. Утром соли не было. Просто не было, чистый подоконник, и Дима ничего не сыпал, и Сонька клялась, что не трогала.

Во вторник вечером она сидела на кухне до двух ночи и составляла список. Дурацкий, отчаянный список — что она знает про старуху. Выходило до смешного мало. Умерла одиннадцать лет назад. Лежала год, пока не нашли. Наследников нет. Заводская, восемь, квартира одиннадцать.

И тут её как током дёрнуло.

Одиннадцать лет назад. Она полезла в телефон, в календарь, трясущимися пальцами отмотала годы назад. Если старуху нашли в ноябре, а пролежала она год, значит, умерла она… Марина листала, считала, сбивалась и считала снова.

Четверг. Каким бы днём это ни было — по всему выходило, что тот день был четвергом.

Она звонит по четвергам, потому что умерла в четверг. День, который у неё остался. Единственный её день в неделе, как единственная комната в огромном пустом доме.

Марина сидела над телефоном, и ей вдруг стало не страшно, а нестерпимо, до кома в горле, тоскливо. Одиннадцать лет. Каждый четверг. Звонить и ждать, что кто-нибудь дослушает. И бросают, бросают, бросают трубку.

А потом она вспомнила фотографию в чёрной рамке и стол на двоих, и жалость смыло ледяной волной.

Среда наступила серая, мелкая, с дождём пополам со снегом.

Марина отпросилась пораньше. Приготовила Сонькин любимый ужин, макароны со звёздочками и котлету, посидела с ней над прописями, почитала на ночь про кота, который боялся пылесоса. Всё как всегда. Всё как надо. Сонька уснула на середине страницы, посапывая, подложив кулак под щёку, и Марина долго сидела на краю её кровати и смотрела.

Семь лет. Царапина на подбородке — с самоката. Съехавшая набок резиночка в волосах.

В среду вечером Сонечка твоя начнёт разговаривать во сне.

— Не начнёт, — прошептала Марина в темноту детской. — Слышишь, ты? Не трогай её.

Темнота молчала.

Марина вышла, оставив дверь приоткрытой. Уложила Диму, отговорившись, что хочет досмотреть кино. Выключила везде свет. И села в коридоре на пуфик, напротив детской двери, как часовой.

Стрелки ползли. Одиннадцать. Половина двенадцатого. Дождь шуршал по карнизу, внизу во дворе пропищала сигнализацией чья-то машина. Глаза слипались, и Марина щипала себя за руку, больно, до красных полумесяцев от ногтей.

Без четверти двенадцать за приоткрытой дверью детской скрипнула кровать.

И Сонькин голос — тонкий, сонный, родной до последней нотки — произнёс из темноты ласково и отчётливо.

— Мука нужна. Два кило. Яйца, десяточек. Мёд, тёмный который.

Марина не помнила, как оказалась в комнате. Сонька спала. Крепко, глубоко, кулак под щекой, резиночка на месте. Губы её шевелились.

— Кагор возьми, доченька. Обязательно кагор. Завтра четверг. Я стол накрою.

Марина схватила дочь за плечи. Сонька распахнула глаза — мгновенно, без перехода, как открываются глаза у куклы, — и в темноте детской посмотрела на мать в упор.

— Мама, — сказала она удивлённо, своим обычным голосом. — А почему у нас бабушка на кухне?

С кухни, через весь коридор, потянуло сладким. Тёплым, домашним, поминальным.

Там варилась каша с изюмом.

Глава 4

Утром каши на кухне не было.

Ни кастрюли, ни запаха, ничего. Чистая плита, на которой Марина, окаменев, простояла вчера половину ночи. Дима собрался на работу как обычно, Сонька хрустела хлопьями и болтала ногами, и никто, кроме Марины, не помнил про бабушку на кухне. Она осторожно, между делом, спросила дочь, что ей снилось.

— Море, — сказала Сонька с набитым ртом. — И собака. Мам, а мы заведём собаку?

Всё. Море и собака. Марина поцеловала её в макушку и держала губы в тёплых волосах дольше, чем нужно, пока Сонька не завозилась и не захихикала, что щекотно.

Потом она проводила их обоих, встала посреди прихожей и сказала пустой квартире, спокойно и внятно, как говорят с тем, кто прячется.

— Хорошо. Я приду.

Пустая квартира не ответила. Но Марине показалось, что тишина в ней стала довольной.

Заводская улица оказалась на выселках, за трамвайным кольцом, где город уже кончается, но ещё не признаётся себе в этом. Пятиэтажки в облезлой розовой краске, тополя, обрезанные до уродливых култышек, гаражи в ржавых потёках. Дождь со вчерашнего дня не перестал — моросил мел-

ко-мелко, и от этого казалось, что смотришь на всё сквозь грязное стекло.

Дом номер восемь стоял последним, торцом к пустырю.

Марина шла к подъезду, чувствуя на себе чужие взгляды. У второго подъезда, на мокрой лавке, сидели две старухи в дождевиках. Они не сводили с неё глаз. Марина прошла мимо, и одна из них тихо сказала соседке. Всего два слова, но Марина их услышала:

«К ней».

— Простите, — Марина остановилась. Сердце бухало, но молчать было хуже. — Вы сказали... к ней? Вы знали женщину из одиннадцатой квартиры?

Бабки переглянулись. Долго, испытующе. Потом та, что постарше, с лицом коричневым и морщинистым, как печёное яблоко, ответила вопросом.

— А ты ей кто?

— Никто. Я... она мне звонит.

Марина ждала чего угодно. Смеха, у виска покрутят, отвернутся. Но бабки не удивились. Вот что было страшно — они не удивились совсем. Старшая пожевала губами и кивнула, словно услышала прогноз погоды.

— Стало быть, выбрала тебя Гуслиха. Одиннадцать лет перебирала — и выбрала.

— Гуслиха?

— Гусева она была. Антонина. А по-нашему Гуслиха. — Бабка смотрела на Марину без жалости и без злости, устало.

— К ней пол-области ездило, милая. Кто присушить, кто отсушить, кто соседа со свету сжить. Она не отказывала никому. Ни-ко-му. Такие, как она, просто не умирают, у них дело недоделанное на этом свете горой лежит. Ей отдать надо. Всё, что накопила, — отдать. А брать никто не хочет.

— А если не взять?

Вторая бабка, что помладше, вдруг перекрестилась мелко и быстро и отвернулась. Старшая вздохнула.

— Сходи да спроси. Ты ж за этим приехала. Только запомни, милая, два слова запомни. За стол не садись. Что хочешь делай — стой, падай, беги, — а за стол с ней не садись.

Подъезд встретил её запахом сырости и кошек. Лампочка на первом этаже мигала, на третьем не было вовсе. Марина поднималась медленно, держась за перила, и считала ступени, чтобы не думать. На площадке четвёртого этажа было три двери. Девятая, десятая.

Одиннадцатая.

Дверь как дверь. Старая, обитая коричневым дерматином, из-под которого в углу лезла грязная вата. Бумажная полоска с печатью — та самая, одиннадцатилетняя, — висела поперёк косяка, пожелтевшая и хрупкая.

Разорванная.

Свежий разрыв, недавний. Два конца бумажки чуть шевелились от сквозняка, который тянул из-под двери. Тёплый сквозняк. Из нежилой квартиры тянуло теплом, как из натопленной кухни, и запахом блинов.

Марина стояла перед дверью, и всё в ней кричало «беги». Ноги были ватные, во рту пересохло. Она вспомнила Соньку с кулаком под щекой. Вспомнила голос из детской темноты. Мёд, тёмный который.

И толкнула дверь.

Та открылась беззвучно, будто петли смазали к её приходу.

Коридор она узнала сразу. Длинный, тёмный, обои в мелкий выцветший цветочек, ковровая дорожка, вытертая до нитей. Тот самый, из сна. Марину качнуло — так бывает, когда наяву входишь в место, которое видел только с закрытыми глазами. За закрытыми дверями по обе стороны стояла плотная, набитая тишина. А впереди, в конце коридора, светился жёлтым дверной проём кухни, и там кто-то двигался.

— Проходи, доченька. Не разувайся, полы холодные.

Голос был тот самый. Наяву он оказался тише и старше, и от его обыденности делалось только хуже.

Марина пошла. Дорожка глушила шаги. Двери проплывали мимо, и за одной — она была готова поклясться — кто-то дышал. Медленно, тяжело, со всхлипом на вдохе. Она не повернула головы. Смотрела только вперёд, на жёлтый свет.

Кухня была маленькая, чистая и страшно обычная. Клеёнка в ромашку. Герань на подоконнике — живая, цветущая, в квартире, запертой одиннадцать лет. Кастрюля на плите, из-под крышки толкался пар. Стол накрыт на двоих. Блины горкой, мёд в вазочке, кагор в гранёных рюмках, тёмный, как

венозная кровь.

И фотография в чёрной рамке. Марина увидела её и не смогла отвести глаз.

С фотографии смотрела она сама. Постаревшая, седая, с запавшими щеками, — но её лицо, её глаза, её родинка над бровью. Внизу на белой плашке стояли две даты. Первую Марина знала наизусту всю жизнь. Свой день рождения.

Вторая дата была через сорок один год.

— Не бойся, — сказала старуха. — Это хорошая фотография. Долгая.

Она стояла у плиты, маленькая, сухонькая, в тёмном платке и байковом халате. Обычная бабушка из очереди в поликлинике. Только вот пар от кастрюли шёл сквозь неё. Марина видела, как белые клубы проходят через тёмный силуэт, не огибая его, и от этого простого, тихого зрелища ей захотелось сесть на пол.

— Вы Антонина Гусева, — сказала Марина. Голос почти не дрожал, и она сама себе удивилась.

— Была. — Старуха повернулась. Лицо у неё оказалось не страшное. Усталое, старое лицо, и только глаза не такие — слишком тёмные, без белков, как две дырки, прожжённые в бумаге. — Одиннадцать лет уже никто. Садись, доченька. Блинов поешь, в ногах правды нет.

За стол не садись.

— Я постою.

Что-то дрогнуло в старушечьем лице. Быстрое, злое, как

рябь по воде. И тут же ушло, спряталось за усталостью.

— Учили тебя, — сказала Гуслиха почти одобрительно. — Сорока на хвосте, бабки на лавке. Ну постой, постой. А я сяду, устала я.

Она села за стол — беззвучно, не отодвинув стула. И заговорила, глядя на рюмку с кагором, тихо и ровно, как говорят давно приготовленное.

— Сорок лет я людям помогала. Так это называла — помогала. Присушки, отсушки, на смерть, на болезнь, на разор. Несли деньги, несли золото, а я брала и делала. Сила была — от бабки моей, а той от её бабки. Сила, доченька, она как река. Пока течёт — живёт. А как запрудишь — гнить начинает. Мне передать надо было, давно надо было, ещё при жизни. Да я жадная была. Думала, успею. А потом четверг пришёл.

Она подняла глаза, и Марина застыла под этим взглядом без белков.

— Упала я вот тут, между столом и плитой. Лежу — а встать не могу и умереть не могу. Всё, что за сорок лет наделала, — всё на мне висит, вниз тянет и не пускает. Год я тут лежала, доченька. Год. Слушала, как за стенкой у соседей телевизор бормочет. А потом наловчилась — в провода, в трубки, в голоса. И стала звонить. Одиннадцать лет я звонила, Мариночка. Знаешь, скольким? А дослушала меня ты одна.

— Я не соглашалась ничего брать.

— А кто тебя спрашивает? — Гуслиха сказала это без

угрозы, буднично, и от будничности заледенела спина. — Ты дослушала — и ниточка завязалась. Ты записи слушала, все четырнадцать, по порядочку, — ниточка окрепла. Ты сюда пришла, своими ногами, через порог переступила. Три раза, доченька. Трижды ты ко мне шагнула, никто тебя не тащил. Осталось малое.

Она кивнула на стол. На второй прибор. На рюмку с тёмным кагором.

— Сядь. Выпей со мной, блином закуси. Помяни рабу Антонину — и всё моё твоим станет. Сила вся, до капельки. Будешь людей видеть насквозь, будешь лечить, будешь калечить. Богатая будешь, доченька. А я отдохну наконец.

— А если я не сяду?

Гуслиха молчала. Пар из кастрюли шёл сквозь неё, и герань на подоконнике медленно, беззвучно роняла лепестки — один за другим, как будто цветок умирал со скоростью их разговора.

— Фотографию видела? — спросила старуха ласково. — Даты видела? Это если сядешь. Сорок один годочек тебе тогда ещё гулять. А не сядешь... — Она вздохнула, и в кухне разом стало холодно, по-настоящему, по-ноябрьски. — Я ждать больше не могу, Мариночка. Сил нет. Не ты — так я по ниточке к тебе приду. Ниточка-то вон какая крепкая уже. По ней и Сонечкин голосок бежит, слыхала вчера? Девочка она чистая, пустая, как кувшинчик. В такую наливать легко.

Марина услышала свой голос словно издалека. Он был ти-

хий и совсем чужой.

— Не смей трогать мою дочь.

— Так и не трону! — Гуслиха всплеснула сухими ручками, искренне, почти обиженно. — Ты сядь — и не трону. Выпей — и забудет она меня навсегда. Всё в твоих руках, доченька. Всё всегда было в твоих руках.

Рюмка с кагором стояла на клеёнке в ромашку. Тёмная, полная. Стул был отодвинут — Марина не видела, когда он успел отодвинуться, — и ждал.

Она смотрела на рюмку и понимала, что выбора ей не оставили. И ещё понимала, тем далёким холодным углом головы, который не отключился от страха, одну вещь. Одну маленькую вещь, за которую надо было цепляться, как за перила над пропастью.

Старуха торопится. Старуха уговаривает. Старуха ждала одиннадцать лет — а сейчас торопится так, что герань на её подоконнике умирает.

Значит, у неё тоже есть срок. Значит, ей тоже чего-то нельзя.

Значит, с ней можно торговаться.

— Девять дней, — сказала Марина.

Гуслиха прищурилась.

— Чего — девять дней?

— Вы заказывали продукты на девять дней. Кутью, кагор, блины. Девятины по себе справить хотите. — Марина сглотнула, горло было как наждак. — Дайте мне девять дней. По-

думать. Через девять дней приду и сяду за ваш стол. Слово даю.

В кухне стало очень тихо. Даже кастрюля перестала булькать. Старуха смотрела на неё долго, и в чёрных её глазах без белков что-то шевелилось — расчёт, голод, и глубоко-глубоко на дне что-то ещё, похожее на страх.

— Хитрая, — сказала она наконец, и непонятно было, злится она или любуется. — Моя порода... Ладно. Девять дней, доченька. Слово ты дала, я слышала, и стены слышали. Только гляди. — Она подалась вперёд, и холод от неё дохнул такой, что у Марины заломило зубы. — Девятый день — четверг. Не придёшь до полуночи — я сама приду. И сяду уже не с тобой.

Марина не помнила, как прошла коридор обратно. Помнила только, что за той дверью, где дышали, теперь было тихо. И что бумажная печать на косяке, когда она выходила, оказалась целой. Нетронутой. Пожелтевшей и хрупкой, словно её никто никогда не рвал.

Во дворе бабок на лавке уже не было. Дождь перестал. Марина дошла до трамвайного кольца, села на мокрую лавку и только там разжала левый кулак, который держала стиснутым, кажется, всю дорогу от квартиры.

На ладони лежал сухой лепесток герани. Она не помнила, как взяла его.

Девять дней. У неё было девять дней, чтобы узнать, чего боится та, кто уже умерла.

Глава 5

Девять дней. Восемь ночей.

Марина возвращалась домой на трамвае, потом на автобусе, и всю дорогу держала в кулаке сухой лепесток. Он не давал ей расклеиться. Маленькое вещественное доказательство, что она не сошла с ума, что кухня с геранью была на самом деле, что торг случился и слово дано.

Слово дано. Про это думать не хотелось.

Дома она соврала Диме, что ездила к тётке в Дербышки. Соврала легко, гладко, сама испугалась, как легко. Легла рядом с ним, слушала его ровное дыхание и смотрела в потолок. С чего начинать? Как узнать, чего боится мёртвая колдунья? В интернете не написано. В библиотеке не выдадут.

А потом она вспомнила бабку с лицом как печёное яблоко.

К ней пол-области ездило, милая.

Пол-области. Значит, живы те, кто ездил. Живы те, на ком до сих пор висят Гуслихины «работы». Старуха сама проговорилась — всё, что за сорок лет наделала, на ней висит и не пускает. Вот её груз. Вот, возможно, и её слабое место.

Найти тех людей. Начать с самого близкого места — с её же дома.

В пятницу Марина снова поехала на Заводскую. К подъезду не пошла — села на лавку у второго, где вчера сидели

бабки, и стала ждать. Старухи такого сорта — как часовые, у них смены. К одиннадцати пришла та самая, старшая, в том же дождевике, хотя день стоял сухой. Села рядом, помолчала. Потом сказала, глядя перед собой.

— Живая. Ну, слава богу. Не села, стало быть, за стол.

— Не села. — Марина повернулась к ней. — Мне нужны люди, которым она... делала. Живые. Кто остался.

Бабка усмехнулась одним углом рта.

— А ты смелая или дура?

— Я мама. У меня дочка семи лет, и старуха ваша обещала в неё перебраться, как в пустой кувшин. Так что выбора у меня нет, бабушка. Помогите.

Бабка долго молчала. Дождевик её шуршал, когда она дышала. Потом она подняла руку и ткнула коричневым пальцем куда-то вверх и вбок, в торец соседней пятиэтажки.

— Вон окно, на третьем, где рама синяя. Гоша там живёт. Игорь Валентиныч. Он в этот двор в семьдесят девятом году переехал, молодой был, красивый, на баяне играл. За Гуслихиной дочкой ухаживал.

— У неё была дочь?

— Была. — Бабка сказала это слово так, что стало ясно — расспрашивать бесполезно, пока сама не дойдёт до места. — Людочка. Светлая девочка, вся не в мать. Они с Гошей заявление подали. А за неделю до свадьбы Людочка исчезла. Вечером из дому вышла — и всё. Ни живой, ни мёртвой не нашли. А Гоша с тех пор из квартиры не выходит. Сорок

пять лет, милая. Сорок пять лет человек за порог ступить не может. Пенсию ему соседка носит, продукты в дверь передают. Врачи приезжали, уколы кололи, слово какое-то учёное говорили. А я тебе без учёных слов скажу. Не пускает его Гуслиха. Заперла. Чтоб не искал и не нашёл.

У Марины по спине пополз холод, уже знакомый, почти привычный.

— Он со мной будет говорить?

— С тобой — будет, — бабка встала, отряхнула дождевик. — Ты ему скажи, что Гуслиха торопится. Что срок у неё выходит. Он поймёт. Он, милая, сорок пять лет в окно на её подъезд смотрит. Ждёт.

Дверь Игорю Валентиновичу Марина стучала долго. За дверью было тихо, но тихо по-живому — с шорохом, с осторожным дыханием возле самого глазка.

— Игорь Валентинович. Меня зовут Марина. Мне про вас рассказали во дворе. Я насчёт... — она запнулась, слово было дикое, но другого не имелось, — насчёт Гуслихи. Она умерла, но она не ушла. Она мне звонит. Она и меня запереть хочет, как вас.

Тишина. Потом лязгнула цепочка. Потом вторая. Потом заскрежетал засов, старый, тяжёлый, и дверь открылась.

На пороге стоял высокий сухой старик в отглаженной рубашке. Вот что поразило Марину сильнее всего — рубашка. Свежая, белая, застёгнутая на все пуговицы. Человек сорок пять лет не выходит из дома — и каждый день гладит рубаш-

ку. Квартира за его спиной была чистая до звона, и вся, от пола до потолка, заставлена книгами.

— Заходите, — сказал он. Голос от редкого пользования был глуховатый, как расстроенный инструмент. — Только простите, чаю не предложу. Я, когда про неё говорю, руки трясутся, всё бью.

Они сели в комнате, где на подоконнике стоял бинокль. Старый, армейский, потёртый до блеска. Окно смотрело точно на подъезд дома номер восемь.

— Значит, выбрала вас, — сказал Игорь Валентинович, когда Марина закончила рассказывать. Он выслушал всё, не перебив ни разу, только пальцы его всё время двигались, разглаживали невидимые складки на брюках. — Я знал, что она кого-нибудь найдёт. Такие не уходят, не пристроив своё.

— Игорь Валентинович. Что случилось с Людой?

Пальцы остановились.

Старик долго смотрел в окно, на подъезд напротив. Когда он заговорил, голос у него был ровный и мёртвый, как у диктора, читающего чужой текст. Так говорят то, что рассказывали самим себе тысячи раз, каждую ночь, сорок пять лет.

— Люда хотела уехать. Со мной, после свадьбы, по распределению, на север. Она мне говорила — Гоша, увези меня, я возле мамы жить не могу, я возле неё не живу, а таю. Я тогда не понимал. Думал, обычное дело, мать властная, дочь взрослая. А Людочка знала, о чём говорит. — Он сглотнул. — Антонина Захаровна ей прямо сказала. При мне сказала,

я на кухне у них сидел, чай пил с их чашки. Сказала — никуда ты не уедешь, дочка. Тебе принимать. Кому я всё отдам, чужой тётке? Ты кровь моя, в кровь и пойдёт.

— Принимать... — повторила Марина. Внутри всё сжалось. — Силу. Она дочери хотела передать.

— А Людочка отказалась. Одна она, наверное, во всей области знала, что это такое на самом деле — и отказалась. Мне шепнула ночью, накануне... — старик впервые запнулся, — накануне того вечера. Шепнула — Гоша, она меня не выпустит, она меня лучше в нитку смотает, чем отпустит. Я не понял. Я, дурак, смеялся. Говорю, что она сделает, милиции на неё нет, что ли.

Он повернулся от окна, и Марина увидела его глаза. В них не было слёз. Там было хуже — там было сорок пять лет одного и того же вечера.

— Люда вышла из дома в восемь. Я её ждал у кинотеатра. Она шла ко мне, милая моя, — тут дворами пять минут. И не дошла. А ночью я проснулся оттого, что не могу выйти из квартиры. Понимаете, как это? Дверь открыта. Порог вот он. А шагнуть — как в стену. Тело не идёт. Сердце рвётся, ноги не идут. Я в окно кричал, люди собрались, милиция. Меня выносили на руках — я сознание терял, как только за порог. Обратно заносили — оживал. Врачи потом название придумали, длинное. А я знал. Я с самого начала знал, чьих это рук.

— Зачем? Зачем ей вас запирать?

— Затем, что я искал бы, — просто сказал старик. — Я бы землю рыл. А ей нельзя было, чтобы Люду нашли.

Тишина в комнате стала плотной. Марина боялась спросить и знала, что спросит.

— Вы думаете, она...

— Я не думаю. — Игорь Валентинович взял с подоконника бинокль, механически, как берут привычную вещь, и положил обратно. — Я сорок пять лет смотрю на тот дом. Я видел, как к старухе ходили люди — годами, тропа не зарастала. Я видел, как одиннадцать лет назад её тело выносили из подъезда, когда наконец хватились, — я вот у этого самого окна стоял. И я вам скажу то, чего не сказал тогда ни одному следователю, потому что меня в лучшем случае пожалели бы. За все сорок пять лет, что я тут заперт, Людочка мне снилась ровно один раз. В ту ночь, когда старуха умерла. Встала у моей кровати — молодая, в том самом плаще — и сказала три слова.

Он замолчал. Марина не торопила.

— «Гоша. Я дома».

За окном по двору проехала машина, где-то залаяла собака, обычный мир жил своей обычной жизнью, а Марина сидела в комнате, где сорок пять лет длился один вечер, и чувствовала, как у неё шевелятся волосы.

— Дома, — повторила она шёпотом. — Она в квартире. Всё это время... Люда — в квартире.

Двери по обе стороны коридора. И за одной — дыхание.

Медленное, тяжёлое, со всхлипом на вдохе.

— Я не знаю, что она с ней сделала, — сказал старик, и голос его впервые дрогнул, пошёл трещинами. — Сорок пять лет не знаю. Может, оно и к лучшему — узнал бы, так, наверное, не выдержал бы. Но одно я знаю точно, милая вы моя. Люда не ушла. Не бывает, чтобы человек ушёл — а его вот так держало. И знаете, что я думаю ночами? Что Людочка до сих пор та девочка, которая шла ко мне к кинотеатру. И что ей всё ещё страшно.

Он посмотрел на Марину, и в его выцветших глазах вдруг проступило что-то твёрдое, молодое, из семьдесят девятого года.

— Вы к ней ещё пойдёте. Раз слово дали — пойдёте, от её слова не отвертишься. Так вот, я вас об одном прошу. Не за себя — мне терять нечего, я своё в этих стенах отсидел. Люда там. В квартире. Я не знаю, как это бывает и как называется, я в это раньше не верил — а теперь верю. Старуха её не отпустила. Ни живую не отпускала, ни мёртвую не отпустила. Держит её там, при себе, сорок пять лет. — Старик подался вперёд, и голос его задрожал. — Вы спрашивали, чего боится мёртвая. Я сорок пять лет об этом думал, у меня других занятий не было. Она Люду прячет — от всех, от меня, от Бога. А что прячут, того и боятся. Найдите её там. Помогите ей уйти. Я думаю, если Людочка освободится — старухе больше не за что будет держаться

Марина шла домой пешком, через полгорода, не замечая

дороги. В голове стучало.

Дверь в коридоре. Дыхание за дверью. Сорок пять лет.

У старухи было слабое место, и Марина вчера прошла мимо него в полуметре.

А ещё она думала о том, о чём боялась думать. Гуслиха хотела передать силу дочери. Кровь в кровь. Дочь отказалась — и старуха смотала её душу «в нитку» и оставила при себе. А теперь она зовёт Марину. Ласково, по-родственному. Доченька. Мариночка. *Моя порода.*

Бабушка умерла двенадцать лет назад. Бабушка, которая одна звала её Мариночкой. Бабушка, о которой мама всю жизнь говорила скупо и сквозь зубы, а на все вопросы про её родню отвечала одинаково.

Не лезь. Нет у нас там никого.

Там — это где, мама?

Дома Марина дождалась, пока уснёт Сонька, села на кухне и набрала мамин номер. Мама взяла трубку после третьего гудка, и Марина, глядя на своё отражение в чёрном окне, спросила без предисловий.

— Мам. Как девичья фамилия бабушкиной матери?

Мама молчала. Долго. Слишком долго для простого вопроса.

А потом сказала тихо и устало, как говорят то, от чего бегали всю жизнь.

— Гусева. А что, Марина... началось?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.